

Владимир ШУБИН

## ТАМ, НАД ДУНАЕМ...

### РАССКАЗ

*Эти записки на немецком языке в синей тетрадке с линованными полями попали ко мне совершенно случайно. Тетрадь лежала на дне небольшой коробки с книгами, которую вместе со всем ее содержимым я приобрел за пару евро во время одной из прогулок по блошиному рынку. Мне приглянулся изящный томик «Страданий юного Вертера», старый путеводитель по городам Дуная, еще несколько любопытных изданий. Уже дома обнаружилась в коробке тетрадка с синей обложкой, и я был готов ее выбросить, но после беглого просмотра передумал. Сейчас трудно сказать, что меня тогда остановило; как бы то ни было, я отложил в сторону приобретенные книги и подтянул поближе словарь. Мучительно было разбирать нетвердый почерк, но и оторваться от начатого стало вскоре невозможно: с пожелтевших страниц для меня все явственнее звучал голос пожилого человека, избравшего ученическую тетрадь хранителем предсмертной исповеди.*

*Рукопись не имела заголовка, в остальном же, за исключением личных имен, я старался не позволять себе никаких отклонений от оригинала.*

Вчера снова приходил господин Шрайтер. И снова ни-че-го! Они уже три недели топчутся на месте, перемалывают одни и те же подробности, а бедная Ди три недели лежит на Западном кладбище... Они не могут найти убийцу. А я до сих пор не могу убрать со стула в спальне одежду, что осталась висеть со дня ее смерти — ее любимую темно-малиновую юбку и вязаный жакет, подарок ее сестры Марты ко дню рождения. Ди сразу его надела и так и осталась сидеть за праздничным столом в только что подаренном жакете. И Марта, и этот ее друг, что недавно вышел на пенсию и сподобился, наконец, предложить Марте поселиться вместе, — и это после пятнадцати лет, в течение которых она каждый день ждала этого предложения, а он, ссылаясь на работу и обстоятельства всех видов — от бытовых до космических, — откладывал этот вопрос на следующие полгода, продолжая регулярно приезжать к ней к субботнему ужину и столь же пунктуально покидать ее после воскресного обеда, так вот, и он, этот плешивый жучок, который все эти пятнадцать лет терся вокруг сестры Ди, сказал, что жакет ей очень идет. Он ей и правда шел, но жучок-то этого не понимал; что может понимать в таких делах человечешко, никогда не любивший, это самодовольное ничтожество, воскресный утешитель безнадежно одиноких дев. Ди его тоже не любила, но жалела Марту и даже хвалила ей жучка — смотри, какой заботливый, звонит же иногда и на неделе, спрашивает, как дела...

Она была прекрасна в том жакете. Но никто не должен был касаться этого, никто не должен был пачкать своими бездушными интонациями и банальной болтовней того, что во всей глубине мог оценить только я.

Ди исполнилось пятьдесят восемь, и мы желали ей еще многих и здоровых лет. Кто мог предполагать, что ей было отмерено всего лишь три дня...

Шрайтер говорил, что обязательно найдет убийцу, но что это трудно, потому как следствию представляется, что ее убил человек случайный, без всяких мотивов, скорее всего, психически больной, проходивший мимо скамейки недалеко от дома, на которой она сидела одна в тот вечер; он выхватил нож и нанес ей три удара. Зачем ему понадобилось убивать пожилую женщину? Кричала ли она? Никто ничего не слышал и никто ничего не видел. Шрайтер говорит, что она умерла минуты через две. Последний удар был точным и подарил ей легкую смерть. Сейчас они роются в больничных картотеках, ищут людей, склонных к немотивированным убийствам. Изучают списки недавно выпущенных из тюрем. Пытаются найти иголку в стоге сена — ну, ну... Эксперты считают, что третий удар выдает убийцу-профессионала, но Шрайтер в том не уверен, полагает это чистой случайностью. У профессионала должен быть мотив...

Я слушал Шрайтера с полуприкрытыми глазами. Меня раздражает его добермановская челюсть и серьга в ухе. Не может у полицейского быть никакой серьги! Иначе он ни черта не найдет. На прощание пожал мне руку: «Крепитесь, хэrr М. Знаю, как вам тяжело... Вы прожили с покойной супругой счастливую жизнь... крепитесь... мы еще увидимся...» И ушел. Я остался сидеть с закрытыми глазами. «Счастливую жизнь»? Откуда у господина полицейского сыщика такие сведения и что он этим хотел, собственно, сказать?

Ди было двадцать четыре, когда мы познакомились. Конечно, я помню не только год, но и день, месяц и час нашей встречи. Июль, двенадцатое, год одна тысяча девятьсот шестьдесят первый. Около полудня. Старинный Ульм, берег Дуная. Безжалостное солнце. На ней легкое сиреневое платье и большая белая шляпа, которая так ей идет. Она с подругой. Маленькими глотками они отпивают из кружек светлое пиво, непрерывно курят американские сигареты...

Я попросил разрешения сесть за их столик. Бегло взглянув на меня, она согласно кивнула и продолжила что-то увлеченно и негромко рассказывать своей собеседнице. Я заказал пиво и жареную свинину и, не зная почему, старался не смотреть в их сторону. Небольшая терраса ресторана располагалась на обрывистом берегу реки и была ограждена балюстрадой — потрескавшимися бетонными столбиками и давно не крашенными, увитыми плющом металлическими решетками. Невысокий противоположный берег смотрелся отсюда как причудливый черепичный ковер, повторяющий очертания домов и целых кварталов. Мне подумалось, что после обеда надо бы сходить туда — в старую часть города, поближе посмотреть их знаменитый собор с самой высокой в мире колокольней и старинную ратушу, но, скорее всего, будет еще жарко и придется возвращаться в гостиницу, а осмотр достопримечательностей отложить на вечер. Мучила жажда, пекло солнце, и к этому добавлялось внутреннее беспокойство, причину которого я не мог найти, пока снова не встретил ее мимолетный взгляд. Ничего особенного, никакой неопишуемой красотой она не обладала — миловидное овальное лицо с большими зеленоватыми глазами, светлые прямые волосы, мягко спадающие из-под шляпы на плечи. Я был уже далеко не в том сентиментальном возрасте, в котором верят в любовь с первого взгляда, — мне ведь было почти тридцать. Но в ее глазах мелькнуло что-то родное и давно забытое. Передо мной оказался незнакомый и одновременно близкий человек... Это не так просто объяснить... какая-то ассоциация с сильным, но забытым детским или юношеским впечатлением — уличным, домашним или книжным, а может быть, как считает Марта, которой я годы спустя все это не раз рассказывал, сигнал из прошлой жизни — его, однако, нельзя интерпретировать только как знак счастливого обретения, он может быть и предостережением, напоминанием о былой ошибке; кажется, она просто начиталась

не очень умных книжек. Марта вообще женщина простоватая, но одаренная необыкновенной чуткостью и доброжелательностью. И сестру свою всегда любила... Когда Ди ушла от меня, я изредка приезжал к Марте; разумеется, не по выходным дням, когда туда заявлялся жучок.

С Дуная послышалась музыка, и мы увидели, что внизу мимо нас на большом плоту, украшенном цветами и гирляндами из веток, проплывает духовой оркестр, за ним потянулся целый караван — вереница плотов, где на скамейках за длинными стругаными столами сидела празднично одетая публика, там стояли бочонки пива и пышущие жаровни, люди пели и некоторые даже танцевали. И Ди, как и многие вокруг, стала махать им рукой, громко и шутливо комментировать происходящее, и то ли от неловкого движения, то ли от неожиданного порыва ветра ее большая шляпа с широкими полями вдруг оказалась за балюстрадой и, плавнo кружась, то в одну, то в другую сторону, начала спускаться к воде. Некоторые приподнялись со своих мест, наблюдая за ее полетом, и сочувственно улыбались. И она, на которую устремлено было в этот момент столько глаз, отвечала на улыбки, реплики, сначала без слов — кивала головой, разводила руками, смеялась, а потом вдруг протянула мне через стол руку и назвала себя. Мне — от волнения или от внешнего шума — послышалось, что она сказала «Ди Кляйн». — «У вас редкое имя», — заметил я. Она удивленно вскинула брови: «Шутите? Мне кажется, здесь каждую третью девушку зовут Хайди». — «Ах, Хайди! — воскликнул я. — А мне ведь послышалось Ди». — «Ди? — рассмеялась она. — Это звучит немного на азиатский манер, но если желаете...» И снова привстала, сомкнула веки до узких щелок и еще раз протянула руку: «Ди Кляйн». — «Клаус».

Мы поженились на следующий год. К тому времени она окончила университет и вернулась в Мюнхен, где жили ее мать и сестра, и уже после свадьбы перебралась в мою квартиру в Зольне, на южной окраине города. Но все то время, пока она оставалась в Ульме, я приезжал к ней при первой возможности, и каждый раз мы ходили в тот самый ресторан и старались сесть за тот же столик, и когда зимой терраса пустовала, все равно заходили на нее и вспоминали белую шляпу и подолгу целовались — теперь это было «наше место».

В скольких снах грезилось мне оно потом? Сколько раз в бессонные ночи мечтал я, что мы снова поедem туда и, перебивая друг друга, будем вспоминать, как полетела в сторону Дуная белая шляпа и как кто-то с плота пытался ее поймать, и как потом мы спустились вниз и шли вдоль берега, предполагая, что ее могло куда-нибудь прибить волной от проходивших прогулочных катеров, и как мы разговаривали, перескакивали с предмета на предмет, и я говорил, что Хайди очень красивое имя, но раз так случилось, что в этом городе каждая третья девушка носит его, то, наверное, лучше, если я буду называть ее Ди, тем более что она не похожа ни на одну известную мне девушку не только в этом городе, но и во всем мире, и как мы потом оказались на уютных улочках старого города и там ее чуткая подруга вдруг вспомнила о неотложных делах, и мы тут же без всякого удивления и сожаления попрощались с ней...

И все те годы, что мы прожили позже врозь, я грезил об этом. И потом, когда она вернулась, когда снова спала в нашей кровати, я держал ее, спящую, за руку, вытирал набегавшие слезы и вспоминал «наше место». Я больше не предлагал ей туда поехать. Она и раньше, почти сразу после свадьбы стала отнекиваться, а уж потом, по прошествии стольких лет... «Ты излишне сентиментален», — сказала как-то без улыбки, даже с легким раздражением. А в другой раз и совсем жестко: «Тебе больше нечем заняться, коль ты снова вспоминаешь эту дурацкую шляпу?» И я понял, что «наше» перестало быть «нашим» и стало только «моим». С тех пор *сентиментальные* путешествия в Ульм я совершал всегда один: в собственных воспоминаниях либо с помощью старинного путеводителя, удачно попавшегося мне в руки в одной из книжных лавок.

На берегу Дуная старые дома с крутыми черепичными крышами и фронтонами и над всем этим высоко вздымающаяся башня кафедрального собора... — все вместе складывается в картину одного из старых швабских городков и называется Ульм. Как и во время Бёблинга<sup>1</sup>, стоит он еще здесь, старый город рейха над Дунаем. Все в нем словно законсервировалось: природа и городской облик, поколения жителей и их дома. И люди имеют такие же самые лица, какими рисовали их Мультчер и Цайтблом, Сырлин и мастер Хартманн... (Александр Хальмаер, 1922.)

Я рассматривал альбомы старых мастеров, я искал Ди. Нет... там встречалось только отдаленное подобие... но<sup>2</sup>...

Но прежде всего подлинным ульмским переживанием остается собор... Город для него всего лишь окружающая среда. Он стоит в его центре, как солнечный король посреди своей свиты — так, будто хочет сказать: «город это я»... Соборная башня видит все. Она обозревает весь швабский мир. Она заглядывает также и в сердце города, в его узкие дворы и углы... (Александр Хальмаер, 1922.)

Это произошло через полтора года после нашей свадьбы. Ее не оказалось вечером дома, она не пришла к ужину, не позвонила. Я убрал все со стола, так ни к чему и не притронувшись. Она вернулась в одиннадцать, когда я уже собирался звонить ее матери или сестре. Все это время худшие предположения в голове сменялись еще худшими — обморок в трамвае, ее увезли в больницу. Нет! Конечно же, несчастный случай: она попала под машину. В ужасе я отметал все это, прикуривал сигарету от сигареты и пытался успокоить себя — наверное, она просто встретилась с Мартой, и они случайно забрели в кино и не могут оттуда позвонить... Или не с Мартой... Или не в кино... Я открывал ее платяной шкаф, проводил рукой по одежде... у меня стучало в висках и наворачивались слезы... Появилась она как ни в чем не бывало, поинтересовалась, что нового в мире (у меня была включена программа новостей, которую, разумеется, я не слушал), и, не дождавшись ответа, ушла в ванную. Когда она вышла оттуда в халате, улыбаясь и напевая, я чуть не ударил ее. «Что ты такой сегодня?» — спросила она. — «Где ты была?» — «Ну, ну, не устраивай сцен, я просто гуляла, разве не могу я просто погулять по городу в хороший зимний вечер, а? Ты чего такой серый?» — «Но ты мне не позвонила, и я целый вечер не знал, что с тобой...» — «Я пыталась тебе звонить, но один автомат не работал, а второй проглотил монетку...» И она пошла в спальню, как будто ничего не случилось... Я догнал ее одним прыжком, развернул за плечо и ударил по щеке. Она отшатнулась, вырвалась и, не снимая халата, легла в кровать, лицом вниз...

Прошли мучительные сутки — без сна, без совместного утреннего кофе (я уходил из дому на час раньше ее, но обычно она всегда вставала к завтраку, провожала меня до двери, потом шла принимать душ), под удивленными взглядами коллег, едва ли поверивших, что мои воспаленные глаза, посеревшее лицо и сиплый голос — следствие легкой простуды. И словно в насмешку — расстройство желудка, этот оскорбительный понос, будто пытающийся перевести мою драму в русло трагикомического действия. Я мог бы утром остаться дома, но не знал, как вести себя дальше, и просто бежал, потом же, на службе, проклинал себя, что не остался, считал часы и минуты до конца рабочего дня — с замиранием сердца ждал

---

<sup>1</sup> Потомственный каменотес, занятый в постройке кафедрального собора в Ульме.

<sup>2</sup> Часть текста густо зачеркнута и не поддается прочтению.

того момента, когда снова переступлю порог квартиры, увижу ее, ждал и боялся — тысячу раз оживал и умирал... И уже в такси, когда машина свернула на нашу улицу и до дома оставалось ехать минуты три, из всего этого осевшего в душе кошмара выкристаллизовалась одна — беспощадная — уверенность: все кончено, она ушла.

Она ушла... теперь уже навсегда. Вчера я был у нее, убрал с могилы упавшие ветки, долго говорил с ней... вспоминал и тот вечер...

Она не вышла в прихожую, а просто негромко выкрикнула из кухни: «привет». Выкрикнула без эмоций, будто поставила галочку в каком-то списке: и я тут. «Как дела?» — я не узнавал своего голоса. И не дождавшись ответа, теми же деревянными звуками выдавил: «Прости меня, Ди...» Она показалась в дверях: «И ты меня прости, Клаус...» И потом, после наших объятий и слез («ну что, что ты...», — шептала она, вытирая ладонями мои глаза и целуя их), после нашего лихорадочного смеха, когда, боясь снова приблизиться к главному, мы пересказывали друг другу нелепые подробности прожитого дня и она сначала очень смеялась над моим поносом, а потом погладила по голове и сказала «бедненький мой», после крепкого чая, тут же приготовленного ею в целях моего излечения, после всего этого она мне сказала: «Ты должен понять меня... Я не домашняя кошечка, это не мой, так сказать, профиль. Меня давит размеренность повседневности — любой. Пойми, человек должен иногда, что называется “сорваться”: прогулять школу или забыть, что надо готовить мужу еду и без пяти восемь включить телевизор, чтобы не пропустить очередные новости дня, выпить, наконец (хоть мне это и не грозит; ты же знаешь, что я не пью). Ну я не знаю, как тебе это объяснить... Вчера, когда я ехала в трамвае, в вагон, во все двери разом вдруг *ввалился* (другого слова не подберу) целый оркестр, представляешь? Вошел неожиданно, с музыкой, все были одеты в карнавальные костюмы... Представляешь? Сначала испытываешь раздражение — что за шум, мешают читать... но шум постепенно приобретает черты согласованной мелодии, напряженного, захватывающего ритма... человек двадцать бьют в барабаны — в крохотные, средние, огромные, плоские, вытянутые, пузатые... И из всего этого вырастает не отпускающий уже тебя сплав ритмичной мелодии, повторяющейся и нарастающей как у Равеля, готовой вот-вот сорваться и... берущей новую высоту. Я проехала свою остановку и уже на улице поняла, что не я одна иду за оркестром... нас становилось все больше, и мы послушно шли, как те дети из сказки...» — «Но почему ты не позвонила мне? Почему ты не подумала, что я тоже способен “сорваться”... я бы приехал... я бы пошел с тобой...» — «Наверное, могла и позвонить... дважды неудачно пыталась это сделать, но не с тем, чтобы позвать, а просто коротко предупредить... а потом решила больше не звонить... ты бы меня начал расспрашивать — что да как, да зачем я голодная по улицам хожу... все это очень мило, только, пойми, в той ситуации это стало бы разрушительным... Я люблю тебя, поверь, но ты должен справиться с собой, это ведь, без сомнения, слабость — твоя боязнь, что в неизвестной тебе складочке моей души или в упущенном из твоего внимания отрезке моего дня таится какая-то угроза... Скорее всего, это ревность, хотя ты и смеешься всегда над ревнивыми мужьями и не считаешь себя таковым...» — «Я?..» — «Помолчи еще минуту, — она взяла меня за руку, — и послушай меня, ведь моя история еще не закончилась... Я вчера целовалась с французом! Спокойно, — она засмеялась и крепко сжала мою руку, — он тоже шел за оркестром, и когда тот перестал играть, он обратился ко мне на ломаном немецком — спросил, как ему добраться до отеля, он совсем не понимал, где он находится и в какую сторону нужно идти. Я согласилась его проводить, тем более что нам было по пути. Он из Марселя, инженер, приехал по делам службы. Недавно развелся, очень любит свою дочь, показал мне фотографию, она совсем еще ма-

лутка — годика два... Мы продрогли и были голодны, и он предложил зайти в кафе. И мы оба еще находились под впечатлением той музыки, тех ритмов, и так не хотелось выходить из этого состояния... Ну а потом, когда прощались...» — «Где? В его номере в гостинице?» — «Не будь идиотом, на остановке, конечно, когда вышли из кафе, — она нахмурилась и отпустила мою руку. — Он спросил меня, встретимся ли мы еще. И я ответила, что нет, потому как видела, что понравилась ему, очень понравилась. И тогда он сказал, улыбнись мне на прощание, я улыбнулась, а он наклонился, легко поцеловал меня в губы и ушел, ушел не оглядываясь...»

Нет, я все понимал и не судил ее, мы больше не возвращались к этой истории. Но только время от времени я представлял ее — зачарованно идущую в толпе за тем ряженым оркестром и себя — мечущегося по квартире, сходящего с ума, брошенного, ненужного ей в тот момент... Я не позволял себе расслабляться, я гнал прочь эти видения и мысленно твердил себе, что не ищу никакой угрозы ни в ее мыслях, ни в поступках — как известных мне, так и неизвестных.

Зачем господин Шрайтер вддел в ухо серьгу? Я, конечно, читал в газетах и по телевизору видел, что нынче пошла такая папуасская мода, того и гляди — в нос начнут кольца вставлять... И как это сочетается с униформой? Или следователи освобождены от ее ношения? Шрайтер, во всяком случае, приходит в обычной одежде. Ему, наверное, немногим больше тридцати... Интересно, это его первое самостоятельное расследование? Три недели топчется на месте — нет мотивов, нет убийцы, нет орудия преступления, никто никого не видел. Черт его подери! Внешне смотрится никак, но то ли что-то из себя разыгрывает, то ли я перестал понимать молодых... А все же спросил меня: «Вы никогда не выходили подышать перед сном свежим воздухом вместе с супругой?» — «Почему же, выходил — иногда». — «Что же не пошли с ней в тот раз? Были заняты?» Он, конечно, ждал, что скажу, будто смотрел по телевизору их идиотский футбол или разгадывал кроссворд в пошлом «Бильде», экземпляр которого всегда торчит у него из кармана. «Слушал “Реквием” Моцарта...» — «Ре...» — осекся, уставился на меня и через минуту выдал: «Хорошее было исполнение — телевизионное или по радио?» — «Хорошее, но оно было тут», — я показал на мой старый проигрыватель с пластинками.

Вчера перечитывал «Глазами клоуна», не мог заснуть почти до рассвета... Бёльль был кумиром нашего поколения, большим лириком... Ди это понимала... Ей доступны были многие тонкие вещи. Она бы никогда не взяла в руки того глянцевого читива, что штабелями таскает из зольновской библиотеки эта подслеповатая курица — аптекарша Плех с верхнего этажа. В последние годы я часто читал Ди вслух перед сном. Перечитали забытого многими поколениями «Вертера», Клейста... всего уж не вспомню. Или слушали музыку... Кажется, последнее, что я читал ей дня за два до смерти, были сонеты Шекспира.

Любовь — мой грех, и гнев твой справедлив.  
Ты не прощаешь моего порока.  
Но, наши преступления сравнив,  
Моей любви не бросишь ты упрека.

Или поймешь, что не твои уста  
Изобличать меня имеют право.  
Осквернена давно их красота  
Изменой, ложью, клятвою лукавой.

Грешнее ли моя любовь твоей?  
Пусть я люблю тебя, а ты — другого,  
Но ты меня в несчастье пожалей,  
Чтоб свет тебя не осудил сурово.

А если жалость спит в твоей груди,  
То и сама ты жалости не жди!<sup>3</sup>

Ее нашла мертвой наша соседка, аптекарша Плех. Она всегда заставляла Ди на той скамейке, когда возвращалась после вечернего дежурства. Они немного болтали и потом вместе шли домой. Я посматривал в окно и, завидя их на ведущей к дому дорожке, ставил на плиту чайник. Если задерживались, я сердился на болтливую аптекаршу. В тот раз их не было долго, а потом раздались полицейские сирены...

Снова был Шрайтер. Просит еще раз подумать, вспомнить, не получала ли Ди каких-нибудь угроз — письменных, телефонных. Она могла о них прямо не говорить, но может, я заметил что-то необычное. Между слов обронил, что соседи действительно слышали у меня в тот вечер музыку, хотя и не уверены, что это был Моцарт. «Неужели и я под подозрением?» — «Ну что вы, что вы, дорогой хэrr М., это, разумеется, формальность... Любое, видите ли, расследование требует построения полного макета, так сказать, театра преступного действия — с обозначением всех фигур, их местоположений, с воссозданием окружающего ландшафта. Звезды на небе, положим, меня в данном случае не интересуют, но вот луна как источник света уже представляет определенный интерес... А также расписание автобусов, например. Мог ведь убийца уехать на автобусе?» — «Конечно», — согласился я. — «О... навряд ли... Потому как после смерти вашей жены следующий автобус ушел только через сорок минут. И никакого иного общественного транспорта в вашем удаленном от центра уголке нет. Мы сразу опросили водителя, и он уверяет, что проехал мимо, потому что на остановке никого не было. Конечно, преступник мог уехать на машине или на велосипеде или уйти, в конце концов, пешком. Но и машину придется тоже исключить.

Фрау Плех, ваша соседка, закрыла аптеку, как всегда, ровно в девять. Именно в этот момент, как установлено экспертами, наступила смерть. Фрау Плех нашла вашу супругу через двенадцать минут. Все это время она шла по улице, ведущей к скверу, где уже было совершено убийство, и никого не встретила, не заметила и отъезжавших машин. Она почти уверена в этом. Так что, скорее всего, преступник ушел в другую сторону, а именно — по дорожке, ведущей из сквера к вашему дому. Но тогда вы, хэrr М., должны были бы его заметить, ибо вы сами рассказывали, что имеете обыкновение поджидать свою жену с прогулки, поглядывая в окно. Конечно, он мог пробраться через кусты сквера в западном направлении, но тогда попал бы на территорию прилегающей к скверу школы и был бы замечен школьным служащим, подметавшим двор под светом фонарей и яркой луны...» — «Подметавшим двор? Я живу здесь уже несколько десятилетий и, поверьте, более менее знаю всё и вся вокруг, и, насколько помню, школьный двор всегда убирался во второй половине дня, сразу после окончания занятий». — «О... вам не следует горячиться, хэrr М... Вы, разумеется, правы, но в тот день школьный служащий, к большому огорчению, отвез в больницу свою жену с признаками острой сердечной недостаточности; пробыл он там долго — пока бедняге не полегчало, и вернулся лишь к восьми часам вечера. Полчаса ушло у него на легкий ужин, после чего он вышел во двор... и, тем самым, стал одной из тех персон, фигурки которых занимают свои места на воссоздаваемом нами театре преступного, как я позволил

---

<sup>3</sup> Перевод С. Маршака.

себе выразиться, действия... Билеты все проданы... Занавес поднимается ровно в девять и опускается через двенадцать минут, воспроизведены все реалии прошедшей трагедии — сквер, скамья, асфальтовая дорожка, школьный двор, луна... На местах, обратите внимание, почти все действующие лица — фрау М. сидит на скамейке, школьный служащий подметает территорию, вы, под траурные звуки «Реквиема» (какое фатальное совпадение, хэrr М., не правда ли?) поглядываете в окно, фрау Плех проворачивает ключ в замочной скважине аптечной двери... Но где же злодей?.. Впрочем, уверяю вас, преступников-невидимок не бывает... Да и публика останется недовольна, если так и не узнает, кто совершил преступление. Она же платит деньги или, если желаете, налоги. Пока же мы можем сообщить ей только то, что ваша супруга не была ограблена; при ней и не было ничего ценного. Не была она и напугана появлением преступника, иначе бы тот же школьный служащий мог услышать ее крик. Может быть, к ней подошел хорошо знакомый ей человек? Человек, который также хорошо знал, что фрау Плех пройдет здесь не раньше, чем через двенадцать минут... Это, разумеется, только предположения... Но я утомил вас, хэrr М. Извините... И поверьте, я очень сочувствую вашему горю и не хотел быть жестоким... Все, что я наговорил сейчас, звучит цинично в ушах близкого погибшей, но, поймите, любая одержимость способна убить в человеке чувство меры... а я... я очень одержим идеей найти преступника...»

Пассау знаменитый и богатый город на соединении Дуная и Инна... Дунай приходит сюда со стороны швабских холмов, Инн стекает с Альп, разделяющих Германию и Италию; здесь впадает он в Дунай и отказывается от своего имени. Город сильно вытянут в длину и был бы почти островом, если бы от Инна в Дунай протянулся канал, ведь одна река от другой удалена на каких-нибудь пять сотен шагов. Через Инн ведет деревянный мост на шестнадцати опорах, соединяющий со старой частью города лежащую по другую сторону реки застройку. Второй мост — через Дунай... там, за ним проходит еще одно русло, с темными водами... Отрезая третью часть города, эта река перед епископским дворцом, примерно напротив Инна, также впадает в Дунай. Так соединяются в одном месте три реки, и потому называется город на итальянский манер Пассау, что означает переправа... (Сильвио Пикколомини, 1444.)

Пароход отходил ровно в шесть вечера. В Пассау шел проливной дождь, и мы отказались от мысли погулять перед отъездом по одному из самых очаровательных городков Нижней Баварии, поставили машину на долгосрочную стоянку и отправились с чемоданами на борт корабля. Это было довольно большое для речного судоходства двухпалубное с надстройкой судно, ослепительно белое даже под мрачными грозовыми тучами...

Я зарезервировал поездку месяца за три и, когда туристическое бюро прислало путевки, положил ничего не подозревавшей Ди конверт на подушку — маленький сюрприз, десятидневное путешествие по Дунаю на белом корабле, к трехлетию нашего знакомства. Мы бы обязательно приплыли к тому месту, если бы наш пароход направлялся от Пассау на запад, но, согласно плану туристического бюро, он предполагал двигаться на восток, по маршруту Пассау — Вена — Братислава — Будапешт... Ди обрадовалась... хотя я бы на ее месте обрадовался, наверное, чуточку сильнее.

Габриеле и Мартин были немного моложе нас. Они бросились мне в глаза на следующее утро, когда я прогуливался по кораблю. Палуба была залита солнцем, и ничто не напоминало о вчерашней непогоде. В белых шортах и футболках, загорелые, оба спортивного сложения, с уверенными неторопливыми движениями, сдержанными улыбками... — на них будто благословенно отложилась гармония



окружавшего нас идиллического целого, вобравшего в себя голубизну неба и ясность солнца, плодородие зеленых дунайских берегов и радужность мерно текущей реки... Такими я мог представить себе, пожалуй, древних греков, выходявших на состязания в честь своего могучего Зевса. Вообще-то я не склонен к фантазиям подобного рода, но, наверное, перемена погоды и радость начавшегося долгожданного путешествия настраивали меня на столь непривычную волну. Я невольно любовался этой парой и завистливо вспоминал, что ко мне плохо пристает загар, что из всех видов спорта мне более менее знаком только шахматный, что меня периодически одолевают глубокие простуды... И Ди, завершавшая в последние месяцы свою докторскую работу по биологии, выглядела не лучшим образом — бледная, усталая, сильно похудевшая.

Вечером, когда на подходе к Кремсу мы смотрели под открытым небом скучную французскую комедию, я показал Ди эту пару. Познакомились мы на следующее утро, когда почти все высыпали на борт, увидев за окнами своих кают вместо уже привычного берегового ландшафта темные и сырые стены шлюза. Мартин обладал какими-то сведениями в этой области и охотно комментировал происходящее своей подруге. Мы оказались рядом, и Ди, проявлявшая в подобных случаях всегда удивлявшую меня любознательность, стала расспрашивать его о некоторых деталях шлюзования судна... С тех пор все удовольствия нашего путешествия мы переживали сообща — экскурсии, палубное кино, дискотеку, открытый бар, где легким коктейлем вечерами провожали скатывающееся за горизонт солнце, и тот трюмный бар, куда мы перемещались за полночь и где всегда звучала джазовая музыка, там мы продолжали еще долго пить и танцевать... Мы забыли, откуда приехали и куда должны вернуться, путали дни недели, нашим календарем стало расписанное вперед ресторанное меню, в котором в зависимости от национальной принадлежности тянувшихся за бортом зеленых берегов Дуная чередовались блюда немецкой, австрийской, словацкой и венгерской кухонь.

Мартин был немного молчаливым, уравновешенным и весьма доброжелательным увальнем. Габи — сама эксцентрика, переменчивость и озорство.

«Ой, Клаус, ты совсем подпалил на солнце спину, это почти ожог, позволь я натру тебя кремом, у меня как раз с собой очень хороший. Ди, ну посмотри на своего мужа — кажется, он стесняется...» И минут через пять после того, как я послушно лег на живот и она легкими круговыми движениями начала втирать прохладную пасту в мою кожу: «Ладно, сейчас вы оба умрете от ревности, идите лучше в бассейн, освежитесь...» И когда Ди с Мартином послушно ушли и я, вопреки собственной воле ждал, что ее ладони еще плотнее сольются с моим телом и умножат уже нарастающую внутреннюю дрожь, она нежданно сняла руки с моей спины, нагнулась, и чуть коснувшись губами моего уха, прошептала: «Нельзя так любить женщину, ты погибнешь с Ди...» И тут же села в стороне и как ни в чем не бывало начала просматривать пестрый журнал.

Габриеле не должна была называть мою жену именем, которое существовало для нас двоих; для нее она должна была оставаться Хайди. Однако, услышав мое «Ди», она тут же подхватила его — бесцеремонно, но с дружеской улыбкой, этак непрошено по-своему располагаясь там, где я предпочитал оставаться с женой только вдвоем.

«Ди! Он у тебя такой внимательный, милый... — это после того, как я принес им в шезлонги мороженое, — давай поцелуем его в обе щеки». И целовала. И смеялась, и все было так непринужденно. И Ди, усмехаясь, следовала ей. Ди была умнее и тоньше, но проигрывала на этом пиру развлечений. Здесь котировались загар и спортивность, наряды и кокетство, а также легкое отношение к жизни, главной проблемой в которой становился выбор между кино, бассейном, баром и дискотеккой. Габи, эта очаровательная маклерша из Кёльна, была здесь королевой.

Она уловила мое легкое опьянение и продолжала свою игру с незатейливостью примадонны местного масштаба.

Мы сидели вчетвером в небольшом уютном ресторанчике в Будапеште. Я танцевал с Габи уже второе танго подряд, и она, приближаясь ко мне немного ближе, чем следовало, стала подтрунивать — ты, конечно, никогда не изменял Ди и не изменишь, даже если сама Брижжит Бардо заберется к тебе в постель... Я отшучивался — старуха Брижжит никогда не была в моем вкусе... После танца обе наши дамы удалились в туалетную комнату. Мы о чем-то болтали с Мартином, когда появилась Габи. «А где же Ди?» — поинтересовался я. «Ей стало плохо, — ответила она озабоченно, — зовет тебя». Я опрометью бросился в женский туалет. Ди стояла у зеркала и, напевая, поправляла волосы. Она посмотрела на меня с неподдельным удивлением. «Дверью ошибся», — нашелся я. «Яволь, майн хэrr!» — хрипло заорала подвыпившая толстогрудая венгерка с губной помадой в руках и подмигнула мне.

Остаток вечера Габи плутовато улыбалась, но я с ней больше не танцевал и не говорил. «Прости, хотела проверить скорость твоей реакции», — шепнула она мне на обратном пути. Я молча отвернулся.

«Ну как тебе старуха Габи? — прошептала она, на мгновение оторвавшись от моих губ, — слаще, чем старуха Брижжит?» Я не отвечал, я предпочитал словам поцелуи. «А ты... не такой уж... робкий... как кажешься... — горячо выдыхала она между поцелуями, — скажи, ты... с самого начала этого хотел?»

Пароход по причине густого тумана, расстелившегося вдоль Дуная, давно стоял на якоре. Было уже за полночь. Ди свалилась от усталости и заснула, Мартин остался в каюте с томиком своей любимой Агаты Кристи, открыть который ему не удавалось все эти дни. И только мы с Габи нашли в себе силы последний раз прогуляться перед сном по нашему белоснежному кораблю. Заканчивался последний день путешествия, утром мы возвращались в Пассау. Мы были одни на палубе — в кромешной тьме и сырости. Пароход время от времени стонал протяжными предупредительными гудками...

«Тебе холодно?» — «Нет, что ты...» — «Клаус...» — шептала она. Я не называл ее по имени, я не помнил в этот момент никакой маклерши из Кёльна. В моих объятиях была та древняя гречанка, какой представилась она мне в первую встречу, восторженное дитя солнца и моря, не отягощенная нравоучениями христианства язычница, для которой вождение и чувственность равно освящены богами, как восход светила или морской прибой. Мы были далеко. Туман поглотил небо и звезды, легкая волна плескалась о борт. Мы лежали на дне почерневшей от времени деревянной лодки, и наши ноги путались в пахнущих тиной рыболовных сетях. Весла давно были брошены, нас сносило все дальше и дальше в море. И мы все меньше и меньше понимали, кто мы, где и зачем все это так...

«Яволь, майн хэrr!» — хрипло выкрикнула и подмигнула мне веселая толстогрудая венгерка, и я проснулся. Ди ходила по каюте и собирала вещи. Моего путешествия в древнюю Грецию и позднего возвращения она, судя по всему, не заметила. Я был противен сам себе.

Через два часа мы прощались с Габриеле и Мартином на пристани. У меня раскалывалась голова, я топтался вокруг чемоданов, готовый в любую минуту броситься к машине. Но остальные никак не могли расстаться. Обнимались, пожимали друг другу руки. А потом снова начинали повторять уже не раз сегодня сказанное: путешествие было столь коротким, так грустно разъезжаться, ах, как нам будет вас не хватать, но мы непременно спишемся и в следующем году снова отправимся куда-нибудь — вчетвером. Да не куда-нибудь, а в Египет — на этом сразу сошлись

Мартин и Ди. И тотчас решили, что кроме осмотра пирамид нужно будет обязательно заказать недельное плавание по Нилу. И Габи горячо их поддержала и, стрельнув глазами в мою сторону, добавила: «Интересно, а там бывают такие же густые туманы, как на нашем Дунае? Сегодня ужас что творилось ночью...» Я скорчился от боли: *наш Дунай...*

Что-то произошло при этом. Может быть, я побледнел или покачнулся, тяжело вздохнул или выдал смятение глазами. Не знаю, теперь уж не помню. Но только Ди тревожно спросила: «Ты себя плохо чувствуешь?» И после того, как я промямлил нечто неопределенное про головную боль, обняла и поцеловала меня в щеку. «Я поведу машину, не возражаешь?» — сказала, смутившись всплеска своей нежности, которую никогда, подчеркиваю — никогда прежде, не проявляла на людях.

Почему я не умер там, на пристани?

Сейчас, когда мне остались считанные часы, я могу точно сказать, что та минута была бы самой верной, самой подходящей... Минута стыда и блаженства... Смерть пришла бы как искупление, как разрешение сплетающихся вокруг нас непреодолимых обстоятельств... И на прощание ее поцелуй — роскошный дар нещедрой на нежность природы, сдержанной во всем, что касалось близости и чувственности, способной лишь мягко мне уступать...

Я подхватил чемоданы и, не говоря ни слова и не оглядываясь на Мартина и Габи, направился к машине.

Через два года Ди ушла от меня.

Нет, она ничего не узнала про мою измену. При внешнем взгляде эта история, вообще, не имела последствий в наших отношениях. Но для меня самого она оставалась загадкой: можно ли было считать ее случайно вырвавшимся природным инстинктом или отчаянной попыткой самоутверждения в моем неравенстве с Ди?

А она? Чего не хватило ей в нашем браке? Что искала и не смогла она найти во мне? В чем разочаровалась? Могла ли сама себе ответить на эти вопросы?

Но только на мои обычные вечерние расспросы — как провела день, часто ли думала обо мне, не забыла ли зонтик — ведь с утра шел дождь и она могла промокнуть, почему позвонила мне на работу только один раз... — она отвечала все неохотнее и раздражительнее. Я воспринимал ее как часть себя, и любое наше размежевание в пространстве создавало психологический дискомфорт, а порой вызывало почти физические мучения. «Ты говоришь, что любишь меня, значит должна чувствовать что-то похожее», — мысленно упрекал я ее и повторял про себя незамысловатую рифму:

... Tag aus, Tag ein  
Zusammen zu sein...<sup>4</sup>

Я торопил ее с окончанием докторской работы — ведь мы собирались после этого, наконец-то, завести ребенка. Мне очень хотелось, чтобы мы зажили настоящей семьей, хотя в глубине души и опасался, что Ди еще больше отгородится от меня, полностью сосредоточится на младенце. Но ведь это бы сильнее привязало ее к дому, к семье, и, возможно, помогло бы мне навсегда похоронить затаенный страх перед бродячими музыкантами и заезжими французами.

Несколько раз она уезжала на научные форумы или по иным делам, связанным с её научной работой. Из последней поездки в Бремен вернулась задумчивой, молчаливой. Два дня ходила по дому сама не своя. Наконец, решила: «Нам нужно серьезно поговорить...» — «Бременские музыканты?» — перебил я ее. Она благодарно улыбнулась: «Да, только на этот раз все серьезней...» Он оказался ее науч-

<sup>4</sup> Дословно: изо дня в день быть вместе (нем.)

ным коллегой, талантливым, обаятельным, давно и, конечно, пламенно в нее влюбленным... Я смотрел на нее неотрывно и не слушал. Мне было слишком больно.

Я собрал все подсвечники в доме, расставил их в спальне, зажег свечи и лег в постель. Так провели мы когда-то нашу первую ночь, и мне казалось тогда, что кровать, обрамленная светящимся кружевом, плавно скользит по Дунаю...

Теперь я лежал один, и кровать медленно превращалась в наскоро сколоченный из серых досок гроб. Мне сразу стало холодно и одиноко. Язычники-греки с каменными лицами произнесли надо мной непонятное заклинание и безучастно и неторопливо поставили гроб на плот. Старший из них, тот, что был с багром, спихнул плот в мутные воды реки, и в ореоле множества мерцающих огоньков я поплыл по Дунаю — по местам мне неизвестным, потом мимо «нашего» берега, где было совсем пустынно и откуда мне никто не помахал рукой, и дальше — через Пассау и земли Дунайской монархии...<sup>5</sup> Никто не обращал на меня внимания, последняя надежда оставалась на Будапешт, где я имел единственного друга — веселую полногрудую венгерку с хриплым голосом, но и она не вышла на берег Дуная, чтобы крикнуть мне на прощание свое «Яволь, майн хэrr!» Я никому не был нужен...

Кажется, я сильно опьянел, иначе, откуда бы взяться на Дунае грекам, да еще и язычникам?

Но самым страшным стали вечерние возвращения домой. Каждый раз...<sup>6</sup>

Тот, кто управляет судьбами, может тоже ошибиться — в его руках миллиарды нитей...

... теория...

1. Эрос — страстная любовь-увлечение, стремление к полному физическому обладанию;
2. Людус — гедонистическая любовь-игра, не отличающаяся глубиной чувства;
3. Сторге — спокойная, надежная любовь-дружба;
4. Прагма — рассудочная, легко поддающаяся сознательному контролю, любовь по расчету;
5. Мания — иррациональная любовь-одержимость, для которой типична неуверенность и зависимость от объекта влечения;
6. Агапе — бескорыстная любовь-самоотдача.

Я — взболтанный коктейль *эроса, мании и агапе*.

Ди — *людус*?

Но как бы то ни было, мы с Ди хотя бы несколько месяцев, несколько дней, несколько часов или — ну пусть всего несколько минут — были гармоническим целым. Мы сошлись с ней легко и радостно, и в нашем единстве Ди изначально была *агапе*. Такие вещи не должны растворяться в речном тумане, где можно потерять контроль над своими животными инстинктами... Такие вещи должны выживать, иначе этот чертов мир не стоит ни-че-го!

Если единый поток разделить на два рукава, то рано или поздно они снова сольются вместе — в речном ли русле или в морском водоеме.

Она открыла своим ключом квартиру, вошла и молча стала развешивать в шкафу свою одежду. Мы не обсуждали случившегося, мы ничего не говорили про прожитые врозь годы, нам не нужны были ни слова прощения, ни новые клятвы верности. Разве это не в порядке вещей, когда разделенные потоки вновь сливаются в единое целое?

---

<sup>5</sup> Одно из названий бывшей Австро-Венгрии.

<sup>6</sup> Часть текста густо зачеркнута, тут же вклеен листок с записью, представляющей, судя по всему, выписку о психоэмоциональных стилях из труда по сексологии.

Мы стали просто жить дальше.

... Tag aus, Tag ein  
Zusammen zu sein...

Но ничто на свете почему-то не бывает вечным. Годы прошли, и она умерла. И совсем не глупая полицейская ищейка с серьгой в ухе, кажется, уже на верном пути. Она уверена, что преступников-невидимок на свете не бывает. Значит, и мне пора. Осталось только написать записку, что фрау Плех не несет никакой ответственности за то, что, воспользовавшись нашей многолетней близостью, последнее время я часто засиживался у нее в провизорской.

Баварско-швабский дунайский ландшафт — это река и широкая зеленая полоса от Ульма до Нойбурга; раньше там был лес.... Там еще стоят привлекающие внимание могучие дубы. На них гнездятся серые цапли и коршуны. Даже редко встречающихся бобров можно найти на реке.

(Александр Хальмаер, 1922.)

Скоро я увижу Ди. Я знаю, где ее искать... Там, над Дунаем гнездятся серые цапли и коршуны... На ней непременно будет легкое сиреневое платье и белая шляпа с широкими полями...

*Прочитав рукопись, я был в полной растерянности. По моим подсчетам, прошло уже лет десять со времени смерти автора. Непонятно было, как тетрадка не попала в руки полиции. Неясно было также — поняла ли полиция, что вообще произошло. В рукописи упоминались подлинные фамилии действующих лиц, и я стал искать сестру покойной — Марту, надеясь, что она еще жива. Опускаю подробности моих поисков, скажу только, что разыскал ее в одном из домов престарелых в окрестностях Тегернзее. После предварительного звонка я отправил туда почтой синюю тетрадку и уже было отчаялся получить ответ, как пришло письмо.*

«Мне потребовалось немало времени, — извинялась она, — чтобы пережить всю эту историю, придти в себя и найти силы для ответа Вам. Бедная Ди и несчастный, несчастный Клаус... Глубоко раненный, глубоко преданный...

Вас, конечно, поразит то, что я напишу. Но правда состоит в том, что Ди умерла от сердечного приступа. Это, действительно, произошло вечером на прогулке, на скамейке, недалеко от дома, но совсем не в Мюнхене, а в Бремене, где все эти годы она жила со своим вторым мужем. Никто на нее не нападал, и к Клаусу она никогда не возвращалась, да они и не виделись, кажется, ни разу со времени их развода. Разве что обменивались поздравительными открытками к рождеству и дням рождения. От второго брака у Ди осталась взрослая дочь, которая учится в Гумбольтовском университете в Берлине.

Клаус всегда был мне по-человечески симпатичен, мы изредка перезванивались, навещали друг друга. От меня не ускользнуло, что к нему похаживает соседка-аптекарьша, но я уверена, что эта связь никогда не задевала его глубоко. И перечитав присланные Вами записки, еще раз убедилась, что он всю свою жизнь любил только Ди и жил мыслью о ней. И смерть ее, как видите, пережить не смог...

Мне было очень тяжело сообщить ему, что Ди умерла. Он долго молчал, потом поблагодарил за звонок и повесил трубку. Через месяц по тому же телефону я услышала голос рыдающей фрау Плех: Клауса больше нет... отравление... медикаменты из ее аптеки...

Я не в силах дать объяснения этим запискам, что написал он после смерти Ди, — о том, будто она вернулась, жила с ним и особенно об этом жестоком убийстве... От всего этого у меня до сих пор стынет в жилах кровь... Может быть, менее близкие и пристрастные поймут в этой истории больше, чем я.

Мои больные ноги и общее состояние едва ли позволят мне в ближайшее время добраться до Мюнхена, и потому хочу воспользоваться случаем и обратиться к Вам с просьбой: не будете ли Вы так любезны положить при случае от моего имени несколько цветков на могилу Клауса. Он лежит на Восточном кладбище, в самом конце четырнадцатой аллеи. Надеюсь, что он уже понят, прощен и успокоен».

2004